

НА ЧТО МНЕ ЛЮДИ?..

Помню, как неприятно поразили меня однажды строки Бродского:

Я не люблю людей...
Что-то в их лицах есть,
что противно уму...

Кажется, так открыто ещё никто не признавался в человеконенавистничестве. Или в человекобезразличии, как, например, Георгий Иванов:

А люди? Ну на что мне люди?
Идёт мужик, ведёт быка.
Сидит торговка: ноги, груди,
платочек, круглые бока.

Насколько больше импонирует нам народническая экзальтация Пастернака:

Превозмогая обожанье,
я наблюдал, боготворя.
Там были бабы, слобожане,
учащиеся, слесаря...

Или благородное самоуничижение Ахмадулиной:

Это я, человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом...
Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою.

Но были ли они в этих стихах так же безоглядно искренни, как Бродский и Г.Иванов? Пастернак, скорее, "превозмогал" свою суть, а не "обожанье", когда писал о любви к простым людям. Слишком непростым человеком был он сам, чтобы органично вписаться в компанию "учащихся" и "слесарей". И вряд ли бы они поняли его сумасшедший захлѐб, заговори он с этими людьми на своём языке. (Домработница Пастернака, послушав его сумбурные речи, сказала как-то с долей сочувствия: "У нас в деревне тоже был один такой: говорит-говорит, а половина — негоже"). Нет, что-то натужное, искусственное, добровольно-принудительное слышится мне в этих его строчках о любви к народу. Природа, музыка, поэзия, философия — да, но не люди. То есть не люди "без шестых чувств", следуя определению Цветаевой. Они так же безразличны Пастернаку, как и то, "какое, милые, у вас, тысячелетье на дворе". И "пил" он лишь с Байроном и Эдгаром По, не меньше. Эти небожители могли "сливаться" только с себе подобными.

И Ахмадулиной вряд ли удавалось слиться с толпой "как слово и слово на моём и на их языке". Хотя пить могла с кем угодно, и восхищаться крысомором, и воспевать садовника, и водить дружбу с дачными рабочими. Но любила она при этом не этих людей, о которых могла говорить самые наивозвышенные и превозносящие до небес слова ("имею право расточать, я не оскудею"), а — себя, и "не себя даже, а производимое ею впечатление", как точно подметил Ю.Нагибин. "Белла холодна как лёд". И, вознеся, могла следом окатить холодом безразличия:

стать "безнадёжно равнодушной к тем самым людям, которых перед этим обласкала." ("Дневник" Ю.Нагибина). Гораздо органичнее для неё одиночество: "Так холодно ты замыкаешь круг"... "Утешусь, прислонясь к твоей груди,/Умоюсь твоей стужей голубою." Но ей ближе этот царственный холод снежной королевы ненастоящего плебейского тепла. Она способна "ощутить сиротство как блаженство". "Тишь библиотек", "концертов строгие мотивы" — вот что созвучно её душе. На что ей люди? Да и она — им?

...Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.
"Прощай, — говорят, — мы-то знаем тебя не по книжкам.
А всё же для смеха стишок и про нас напиши.
Ты нам не чужая — такая простая, что слишком..."
Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,
заснеженных этих равнин и дорог обитатель.
За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,
ещё и за то, что не ты моих книжек читатель.

В читателях "от мира сего" не нуждался и Фёдор Сологуб:

Что мне мир. Он осудит
иль хвалой оскорбит.
Тёмный путь мой пребудет
нелюдим и сокрыт.

Всё земное Сологуб считал тяжким бременем, злом. Люди его утомляли, он старался быть от них подальше. В одиночестве видел единственно возможное для поэта существование:

Оставь селенья, иди далёко
или создай пустынный край,
и там безмолвно и одиноко
живи, мечтай и умирай.

...Послушай моё пророчество
и горькому слову поверь:
в диком холоде одиночества
я умру, как лесной зверь.

Он не выносил грубой Жизни, которая представлялась Сологубу румяной и дебелой бабищей-Евой в отличие от прекрасной лунной Лилит — его Мечты.

Мечтатель, странный миру,
всегда для всех чужой,

таким он остался в памяти потомков. Отчуждение от мирских привязанностей проповедовал Блок:

Всё на земле умрёт: и мать, и младость,
жена изменит и покинет друг,
но ты учись вкушать иную радость,
глядясь в холодный и полярный круг.

И к вздрагиваньям медленного хлада
усталую ты душу приучи,
чтоб было Здесь ей ничего не надо,
когда Оттуда ринутся лучи.

И Георгий Иванов пытался учиться у Блока этой божественной отрешённости, мечтая обрести такой же защитной коркой ледяного бесстрастия, но у него это плохо получалось:

Когда же я стану поэтом
настолько, чтоб всё презирать,
настолько, чтоб в холоде этом
бесчувственным светом играть?

А Цветаева? Вся жизнь — роман лишь с собственной душой. Безоглядный порыв навстречу кому-то, кто показался "вровень", "равносилен" и "равномощен", и — горькое разочарование, когда спадала с глаз пелена, и рядом оказывался всего лишь "грешок грошовый", "убожество", "бедняк", а в сущности — обычный человек, простой смертный. "Я взяла тебя из грязи — в грязь родную возвращаю!" Жар крылатых объятий сменяет высокомерный холод царственных лат. Но — ненадолго, "до первого чужого, который скажет пить".

А всё же с пути сбиваюсь,
(особо весной!).
А всё же по людям маюсь,
как пёс под луной.

Однако это ненасытимая Танталова жажда, умирание от жажды над ручьём. "Чуть встретишь — уж рвёшься прочь". Но это "вероломство" — не что иное как верность себе, своему призванию, гению, внутреннему голосу, верность своему высокому Духу, который не терпит никакого насилия над собой, никакого принижения, никаких чуждых ему слияний. "Я ни с кем, одна, всю жизнь, без читателей, без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака, а зато... А зато — всё".

Я часто привожу эти слова М.Цветаевой, но что-то на этот раз помешало мне закончить на столь высокой отрешённой ноте. А если конкретно — то эссе Аделаиды Герцык, которыми в последнее время зачитываюсь. Исследователи Серебряного века пишут о ней, как правило, лишь в "цветаевском контексте", хотя это была оригинальная и вполне самостоятельная литературная фигура. Так вот закончить мне хотелось бы её словами об отношении к людям и о том, какую роль они играют в её творческой судьбе: "Я не умею общаться с людьми, питаться плодами их духа. Но я не могу без них — они нужны мне... Моя любовь, моя жалость, моё нетерпение влекут меня к людям, не давая покоя. Я вяну без ласки человеческой и жадно, как свет солнечный, тяну её в себя. И, не зная, что с ней делать, — отдаю её назад, но распускаюсь, согретая. Не мысли, не идеи, а что-то другое нужно мне в людях — очень внешнее, или очень внутреннее — за чертой слов и понятий". ("Мои блуждания", 1915).